



Р. В. ИВАНОВ-РАЗУМНИК

История русской общественной мысли

<Фрагмент>

<...> Великий русский сатирик в эту эпоху (1880-е годы. — *Ред.*) допевал свои лебединые песни и создавал такие удивительные вещи, как «Господ Головлевых», «Сказки» и «Пошехонскую старину». Он не мог не откликнуться на всю растерянность мысли, на всю печальную узость русской мысли восьмидесятых годов и сделался резким сатириком эпохи общественного мещанства, так же как его гениальный предшественник, Гоголь, был сатириком эпохи мещанства официального. В сущности, Салтыков все время был сатириком мещанства, принимавшего разнообразные формы; в восьмидесятых годах объект сатиры только определился резче. Прежде, в начале семидесятых годов, Салтыков высмеивал умеренный и аккуратный мещанский либерализм, приютившийся на столбцах «Всероссийской Старейшей Пенкоснимательницы» (т. е., «С.-Петербургских ведомостей», редакции Корша), с ее девизом: «наше время — не время широких задач» (Салтыков, Сочин., IV, 316). Восьмидесятые годы пошли дальше. Газета «Чего изволите?», alias газета «Помои», издаваемая «литератором» Подхалимовым, alias Иваном Непомнящим, называет убеждения абракадаброю и во всеуслышание заявляет, что «ни завтра, ни послезавтра не намерена стеснять себя никакими узами» (Ibid., V, 243, 468–9). Вот он — широкий индивидуализм восьмидесятых годов! Подхалимов понял, замечает Салтыков, что настало время мутное и мелкое, когда «мелочи, мелочи, мелочи заполнили всю жизнь», когда «ни принципы, ни руководящие идеалы — не ко двору» (Ib., V, 12; VI, 327–8); в этом сознании верно понятого положения дел он с наглой уверенностью восклицает: «печать-то, ведь, — сила! Так ли, отче?» (VI, 309–335). Да, *такой* силы, *такого* индивидуализма было немало в восьмидесятые года...

Но оставим в стороне газету «Чего изволите?» с ее проповедью беспринципности и наглости; обратимся лучше к другой части русского общества, которая, в общем, стояла все-таки выше всех Подхалимовых и Иванов Непомнящих. Эта другая, лучшая часть погрязала в восьмидесятых годах в самом мизерном и умереннейшем либерализме, в том «пенкоснимательстве», которое Салтыков осмеивал и раньше. Панацеей от всех общественных зол эти «либералы» (какая профанация слова!) считали добродетельный мещанский бюрократизм; от каждого интеллигентного человека они требовали следующего обязательства: «я, имярек, обещаюсь и клянусь взятку не брать, в карты не играть, не пьянствовать, у начальства не подслуживаться, дело мне порученное исполнять быстро и добросовестно, по мере моих сил и разума» — и тогда Россия процветет, яко крин сельный... Какая ядовитая насмешка, не правда ли, читатель? Но вы напрасно будете искать вышеприведенной фразы во всех двенадцати томах собрания сочинений Салтыкова: фраза эта взята из «Недели» и составляет часть вполне серьезного символа веры любого восьмидесятника! Вот с таким плоским либерализмом и сражался Салтыков, обрушиваясь на него всеми силами своего сарказма. «...Надо “дело” делать — вся задача в этом состоит», — иронизирует он (Ib., VI, 519): ведь это общий девиз всех мещан, так как буквально эти же слова мы слышали от дядюшки Адуева, Штольца и услышим еще от чеховского профессора из «Дяди Вани». Мы только что видели, в чем заключается это «дело». А затем, кроме этого дела — *the rest is silence**, ибо вполне достигнут катковский идеал, так рельефно формулированный Михайловским: «безотрадная, безбрежная пустыня, где только изредка, среди всеобщего безмолвия, раздаются крики: Караул! Держи!.. Ура!..» Этот же идеал, вполне осуществившийся в эпоху общественного мещанства, Салтыков очерчивает следующими словами: «мыслить не полагается! добрый же сын отечества обязывается предаваться установленным телесным упражнениям и затем насыщаться, переваривать и извергать. Всякий же, кто обнаружит попытку мышления, будет яко пособник, укрыватель и соучастник злодейских замыслов» (Ib., VIII, 667). Неужели мы так и останемся при этих хлевных идеалах? — с отчаянием восклицал сатирик (это было в 1881 году).

<...>

И во всем этом нет преувеличения. Не говорим уже о том море патологического мракобесия и мещанства, которое разливалось

* В прочем — тишина (англ.). — Ред.

в «Русских вестниках», «Московских ведомостях» и тому подобных катковских «литературных клоповниках», по выражению того же Салтыкова; но разве и проповедь наших «пенкоснимателей» из «Недели» далеко ушла от таких идеалов? Конечно, у них все это не было так резко, так дубово, — недаром же они во всем проповедывали умеренность и аккуратность; но от этого существо дела не менялось. Та проповедь «примирения с действительностью», «реабилитации действительности», которой в это время усиленно занимались «пенкосниматели», не есть ли именно проповедь хлевных идеалов? Надо брать от жизни только то, что она сама дает; надо удовлетворяться наличными общественными отношениями, памятуя, что лбом стены не прошибешь; с этой стеной надо примириться и «делать дело» только в отгороженном ею пространстве — вот к чему сводилась эта проповедь; можно думать, что именно так рассуждала бы, сидя в хлеву, каждая самодовольная свинья, обладай она даром разума, хотя бы в той степени, в какой обладали им «пенкосниматели»... Эти пенкосниматели-восьмидесятники не понимали знаменитой фразы Милля¹, что лучше быть несчастным человеком, чем довольной свиньей, лучше разбить лоб об стену, пытаясь пробить дорогу, чем сложить руки в бездействии и удовлетвориться узкой и тусклой жизнью. А восьмидесятники ею удовлетворялись, они мало-помалу привыкли к атмосфере приниженности, рабства, трепетания.

Прежде российский либерал-доктринер шестидесятых годов и либерал-пенкосниматель семидесятых годов говаривал довольно-таки смело: «коли я ничего не сделал, стало быть, и бояться мне нечего»; в восьмидесятых годах он стал способен только трепетно восклицать: «чего изволите?» и «как прикажете» (Ib., VI, 229). Это «как прикажете» не есть ли вполне тождественное повторение девиза «примирение с действительностью», nur mit bischen andern Worten*? Правда, не все восьмидесятники согласились стать под это знамя; мы должны с уважением вспомнить «Русские ведомости», «Русскую мысль» и «Вестник Европы», либерализм которых никогда не был запачкан примирением с действительностью, т. е. принятием девиза «как прикажете»; но этих более или менее стойких либералов было так мало, что не они характеризовали собою эту эпоху общественного мещанства. Большинство же состояло из тех «либералов» в кавычках, которые готовы были поступиться своим либерализмом за чечевичную похлебку; еще большая часть были теми

* Только в ином изложении (нем.). — Ред.

«либералами»-постепеновцами, о которых Салтыков сложил свою остроумную и злую сказку («Либерал»; *Иб.*, VI, 124–129). Никогда и ничего они не рисковали требовать в полной мере, а сначала «по возможности», затем «хоть что-нибудь» и, наконец, «применительно к подлости». Так постепенно катились они по наклонной плоскости; наконец, «идеалов и в помине уж не было — одна мразь осталась, а либерал все-таки не унывал: что ж такое, что я свои идеалы по уши в подлости завязил? Зато я сам, яко столп, невредим стою!»

И стоит такой либерал в трясине мещанства восьмидесятых годов, и занимается самосовершенствованием либерализму на славу, общественному мещанству на утешение и самому себе на пользу. Стоит незыблемо, а втихомолку трепещет: слово «реформы» приводит его в ужас, ибо он жаждет покоя; самое слово «реформы» ему приятнее заменить термином «регламентация», а еще лучше — «постепенное, при содействии околоточных надзирателей, благопоспешение». Поэтому интеллигент-восьмидесятник настолько скромнен и тих, что даже в участке, в графе «чем занимается» про него пишут — «всего опасается» (*Иб.*, VI, 257, 363). Это все тот же «пискарь премудрый», который сто лет сидел в норе и дрожал, как бы его щука не слопала, и все-таки считал себя достойным гражданином; у него уже не могло хватить смелости, как у семидесятника, карася-идеалиста, гаркнуть щуке прямо в глаза: «знаешь ли ты, щука, что такое добродетель?...» Но за эту продерзость карася щука слопала, а пискарь за свое смирение получил право всю жизнь дрожать в своей норе. Наивные и утопические порывы семидесятника-карася были чужды умеренному и аккуратному пискарю-восьмидесятнику, и Салтыков в одной из последних глав своих «Недоконченных бесед» (1881) немногими словами великолепно очерчивает мещанские идеалы наступающего десятилетия: «резонность и солидность — вот лозунг настоящего... *Sursum corda!** что это такое? зачем? по какому случаю? разве где-нибудь горит? То ли дело: поспешишь — людей насмешишь! тут, по крайней мере, реальный прием слышится... Пора и образумиться; пора понять, что при известных условиях прежде всего о том помнить надлежит, что маленькая рыбка лучше, нежели большой таракан. Это нынче все говорят. И прежде говорили, но машинально, по привычке; а нынче — с толком, с чувством, с расстановкой» (*Иб.*, VI, 518).

Так характеризовал эпоху восьмидесятых годов наш замечательный сатирик, быть может, один из ожесточеннейших, после Гоголя,

* «Вознесём сердца́» (*лат.*) — начальная часть анафоры христианской литургии. — *Ред.*

ненавистников мещанства. Мы сейчас постараемся разобраться в общей картине эпохи общественного мещанства, нарисованной Салтыковым, но сперва скажем еще два слова о некоторых его взглядах, не касающихся непосредственно эпохи восьмидесятых годов, но имеющих значение для вопроса об индивидуализме. Салтыков был соредактором Михайловского в «Отечественных записках», и нетрудно было бы проследить несомненное влияние замечательного публициста-семидесятника на Салтыкова в области теоретических вопросов: достаточно сравнить многие места из «Благонамеренных речей» Салтыкова (1872–1876 гг.) со статьями Михайловского той же эпохи (см. особенно «Литературные и журнальные заметки», 1872–1874 гг., «Дневник» и «Переписку» Ивана Непомнящего, 1874–1875 гг. и др.). Здесь мы поставлены в необходимость ограничиться указанием на наличность факта, и только в общих чертах отметим основные взгляды Салтыкова на государство, нацию, народ и личность.

К государству как таковому Салтыков относился явно отрицательно, настолько отрицательно, что почти буквально повторял знаменитое сравнение К. Аксакова, по которому государство есть нарост коры на народной сердцевине; влияние бакунизма на критическое народничество было, вообще говоря, несомненным. Государство терпимо лишь постольку, поскольку оно охраняет индивидуальность, а между тем на Западе, говорит Салтыков, государственная регламентация доведена до последней степени, «представительными собраниями издано великое множество Положений, которые до мельчайших подробностей определяют отношения индивидуума к государству»; западная наука также доказывает, что вне государства нет спасения, так что в благословенных странах Запада проблема индивидуализма получила уже твердое и непререкаемое решение. Но Салтыков не верит в такое полюбовное соглашение государства с индивидуумом и утверждает, что в Европе идею государственности поддерживает *нация* минус *народ* (терминология Михайловского), т. е., иными словами, буржуазия, из-за своих личных выгод, в то время как народ совершенно равнодушен к этой идее. Зато у «буржуа — государство не сходит с языка», независимо от того, кто этот буржуа по своим политическим воззрениям (Тб., IV, 495, 600, 501).

Про Россию Салтыков не мог выражаться столь же определенно, во первых, по цензурным условиям, а главное — по причине недостаточной дифференцированности различных классов и слоев общества; но все же ясно, что он не принадлежит к сторонникам идеи государственности, к гуверменталистам. Впрочем, добрая половина

наших «культурных людей» вряд ли понимает, что такое государство», ибо «одни смешивают его с отечеством, другие — с законом, третьи — с казною, четвертые — громадное большинство — с начальством». Эти культурные люди, а вернее — «дикари высшей культуры», не задаются проклятыми вопросами; если их спросить: «какую же роль играет государство в смысле развития и преуспеяния индивидуального человеческого существования?» — то они ответят только «несмысленным бормотанием» и растерянным видом; если же ответят членораздельной речью, то только в стиле салтыковского Генички (из «Мелочей жизни»), типичного чинуши-восьмидесятника: «государство — это все, — ораторствует Геничка, — наука о государстве — это современный палладиум. Это — целое верование. Никакой отдельный индивидуум немислим вне государства» (Ib., VI, 482; V, 111 и др.). А что же ответят настоящие интеллигенты, критически мыслящие личности? Они дали свой посильный ответ в семидесятых годах и ушли временно со сцены в эпоху торжествующего общественного мещанства. Таким семидесятником был и Салтыков, а потому его решение проблемы индивидуализма вполне совпадает с решением, данным критическим народничеством. <...>

